

МОРОЗОВ И. В., доктор культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств

Герменевтика Поумолчания

45-й годовщине поумолчания М. Хайдеггера (1889–1976),
130-летию М. Булгакова (1891–1940)

Последнее столетие утвердило герменевтическую парадигму во многом благодаря творчеству М. Хайдеггера, уникальным путем проникшего в феномен «языка – дома бытия». На этом же маршруте, исходя из его экзистенциала «речь», появились и данные соображения со своим взглядом на лингвистическую выразительность и новым герменевтическим предметом – «поумолчание».

The last century has established the hermeneutical paradigm largely due to the work of M. Heidegger, who penetrated the phenomenon of "language - the house of being" in a unique way. On the same route, based on the existential "speech", these considerations also appeared with their own view of linguistic expressiveness and a new hermeneutic subject - "default".

«Слушай беззвучие, – говорила
Маргарита мастеру...»

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Искони герменевтика вдохновенно произрастает из плодородной тьмы неизъяснимого, неочевидного и поэтому становится «наукой о духе» (В. Дильтей). Ведь, взяв на себя миссию истолкования-интерпретации смыслов-текстов, она априори устанавливается на то, что они могут-должны быть неоднозначными, или не окончательными, правдивыми-возможными, но не ясными-истинными. Ведь истолковывать можно лишь то, что еще не поднято на поверхность очевидного-изреченного. Метафора для этого феномена «уже» найдена – Тишина. Вожделенно найдена, прежде всего, поэтическими натурами, призванными исключительно творить – растворяться открытостью в природный мгновенный пространственно-временной континуум – человеком обожествленно Все.

Все бытие, все сущее согласно
В великой, непрестанной тишине.

А. Блок

И пииты же изначально соглашаются
с невыразимостью сего столь феномена.

Как беден наш язык! Хочу и не могу...
А. Фет

На самом деле не ропщут, но упиваются истые пииты этой немощью, радуясь, что «последнее» слово неизвлекаемо и его поиск бесконечен-бессмертен – решающее доказательство, что люди стали «как боги» и, понятно, не телом, но творческим духом. Им потрафляет беспристрастная математика, убеждая: если высказывание полно, оно неточно, если точно, то неполно (К. Гедель). А что для математика теорема, требующая доказательства, то для мыслителя-поэта аксиома.

Мысль изреченная есть ложь.
Ф. Тютчев

Так низвергается всякая завершенность-замкнутость, утверждается синергетическая мощь изменчивости, что подводит к радикальному метафизическому признанию в Боге не устоявшееся правило, но динамичный принцип. Посему и пасует человеческая мысль утнаться за

сей мистической трансценденцией, миром, улетающим за горизонт понимания-истолкования.

Не сможет ни один язык
все высказать, что мысль
предполагала.

М. Хайдеггер

Поскольку мысль предполагать может только, не выходя из языка, что есть «дома бытия» [1]. Но даже в этом, казалось бы, весьма обжитом, «знакомом до слез» Доме, в темной тиши «чулана» на забытом «чердаке», до времени помалкивая, бытийствует невыразимое, но показывающее себя смутными первообразами, архетипами, особыми ментальными сущностями, еще не подвергшимися концептуализации, не структурированные в лексике. [2]. Однако предчувствуемые, ожидаемые воображением-интуицией без всякой на то подготовки-наушения. Вот почему искони востребована поэзия, которой чужды преамбулы, принципы, методы и доказательства. «Она отвергает даже сомнения. Единственная нужда ее – в молчании, в прелюдии тишины» [3]. Это насущное суждение, помимо всего прочего, подвигает мысль к нахождению общего-специфического в «тишине» и «молчании».

Тишина исходна как начало начал, предшествуя и последствуя «большому взрыву» Бытия, породившему вселенную Слова. Она прародительница и усыпальница всего многозвучия и потому всего живого и главное, мыслящего, про-возглашающего свое наличие с претензией на его осмысление-понимание. Отсюда весьма древнее, пожалуй, архетическое «Познай самого себя», идущего из чувства, «великая, непрестанная» вселенная «во мне» (А. Блок).

Тишина принимается, как исходно плодородная, но потаенная грибница, непостижимым образом плодится молчанием, также сокрытым под темными наслоениями, как лакомые трюфели. Оно и спасает в драматичных случаях беспо-

мощности говорения, ведь в своем речевании человек отсылает не к совершенному факту-определенности, но к противоречивому чередой отношений. И только в молчании констатируется сей лингво-речевой феномен. По Витгенштейну, в подлинном молчании, поскольку оно должно быть не просто отсутствием звуков, но и внутренним молчанием, когда приходится молчать и мышлению. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» [2, с. 73]. Или уединяться, однако не в безмолвие, но в диалог-общение с самим собой, прислушиваясь к внутреннему исповедальному голосу, и такое возможно негласным откровением с самим-собой, «соображая на троих» в одном, будучи «пациентами» З. Фрейда – Я, Сверх-Я и Оно, согласных в Поумолчании. И если «язык – это «язык», исходящее из уст» [4, с. 260], то общение реально-самобытно и при «держании языка за зубами», «в сердцах», «за глаза»...

Вот она – истая практическая магия Поумолчания, в опытах которой нужна уединение-таинственность. Эти опыты усиливаются безмолвием и уничтожаются разоблачением. Ибо в этом случае разоблачается мистика Поумолчания, оголяется потаенность недоговоренности в априори тщетной попытке мысли облечь себя в единственную оболочку гласного произношения.

Мысль может замереть,
и высказать не сможет
все, что высказать ей
невозможно...

Такая невозможность ставит мысль
и Бытие лицом к лицу.

М. Хайдеггер

Или перед зеркалом Бытия с его зазеркальем – Тишиной-Небытием. На нем и испытывается жизнь-живучесть человека, в сомнении обнаруживая его дух-дыхание в легко исчезающей испарине. И ее можно назвать Поумочанием.

Звучать может и ветер в горах, и море в камнях. Но молвить, а главное, замал-

чивать, помалкивать – лишь существо разумное, одаренное магией Поумолчания, которое не есть безмолвие как отказ от гласности или согласие, но сокрытые в лабиринтах сомнений и в просторах уверенности предположения, предшествующего всякому выбору. Поумолчание, словно темнотихие ложесна, в которые уже занесено семя мысли-смысла, и вызревают речевые возможности.

«Язык не может реализовать себя иначе, чем через говорящего языком человека» [1, с. 260]. Но через Поумолчание накапливает свои возможности для наиболее полной реализации языка-себя, – ведь в нем содержится все, до сих услышанное и пока невысказанное. В нем предречение со всем опытом-памятью языка. С ним послеречие, преисполненное творческим наитием бытия, дарующим языку быть живым Домом заповедно обетованно-обитаемым. Дабы не умирало желание, предназначение огласиться-замолвить о себе-собой миру и вопрошать его как общечеловеческое Поумолчание. Оно возбуждает ожидание, подогревая на Домашнем очаге-языке экзистенциального вопрошания и радости предчувствия диву давания. Так зачинается «подлинная беседа», только в которой и «возможно настоящее молчание» [1, с. 28]. Таковым, пожалуй, и есть Поумолчание.

Страх и отчаяние – в недрах
Поумолчания.

Нега и чаяния – на кончике
Поумолчания.

Все, о чем мы еще сторожимся говорить, не находим слов для того, но уже изготовлены к озвучанию – неистребимый зов Поумолчания, согласующим уже-еще, «слушание»-«молчание», «знание»-«предположение», «убежденность»-«веру», которыми реализуется «речь», фундаментальный экзистенциал, «черта бытия» (М. Хайдеггер). За этой чертой-порогом мрак полного одиночества, при котором слышится, будто за звуками исчезла и сама жизнь. Мысль угнетается фа-

тальностью: «дальше» ничего уже не будет, как в «Гамлете»: «Дальше – тишина».

Поэтому в неминуемом страхе-ужасе ничтожения даже Тишина наделяется пусть и холодным, мертвящим, гробовым молчанием – естественная надежда-вера человека, ведь «Бог заставляет нас говорить... Он есть сила, которая в нужное время заставляет нас говорить и слушать...» [4, с. 204]. Первотворец заботливо заставлял говорить, называть-нарекать «всякую душу живую», что он «образовал из земли». Однако выучил и слушать-прислушиваться, запрещая приснопамятный плод, и тем подвигая ослушание. А затем Поумолчание как потребность сокрыться в нескрываемости Всевидящего: «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?...». Правда, сколько поумалкивал на это экзаменационное вопрошание Адам, неизвестно...

Так что человек заставлялся поумалкивать, ибо не лишен слабости-опасения проговориться и тем обнаружиться в сути своей, представляя прозором людской молве-суду. Поскольку в Поумолчании не просто холодное «золото», но кладезь затаивания самого сокровенно-сокровищного. Пророки-поэты слушают не голос Бога, но Его поумолчание, возвращенное на пороге Дома бытия, откуда трепетное Поумолчание уже-еще вызывает, выводит, указывая-выговаривая:

Иди туда, куда не можешь;
узри то, что ты не видишь:
Услышь то, что не издает шума
и не звучит.

Теперь ты там, где говорит Бог.
Ангелус Силезиус

Тогда и «звезда со звездой говорит», ведь «...только в подлинной беседе возможно настоящее молчание» [1, с. 28]. «И лишь молчание понятно говорит» (В. Жуковский). Так Поумолчание снимает проблематику обреченности «последнего» как окончательного последствия,

оживляя его качеством пред-следнего, еще не хоженного мыслью-языком. Оно не умирает с последним кукованием кукушки, которую мы попросили сосчитать наши годы. Не покидает оно и в тиши послезвонной. С последним ударом колокола, когда оно становится еще тише (М. Хайдеггер). Разве что колокол, лишенный своего языка, обречен на тишайшую тишину. Однако пока мы живем с нерастраченным Поумолчанием, чувствуем некий озаряющий импульс-свечение. Ведь в тишине все же что-то светится, как непосредственно заметил Маленький принц (А. Экзюпери). А в Поумолчании непременно нечто темнится. Это когда в восторге-ужасе немеешь от пророческой немоты.

Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у него...

Арсений Тарковский

Здесь-то, в жизнеутверждающем просвете смыслов, и выказывается глубинная языковитость Поумолчания как недоговоренности-предсказания: «молчи, скрывайся и тай» (Ф. Тютчев). Как нераспробованный плод с Древа Жизни и Познания, столь притягательный для герменевта, оживающего свой-наш Дом бытия.

Это подвигает обозначение в гуманитаристике особого рода мышления, которое вообще не является статично дисциплинарным и даже не междисциплинарным, но динамичным трансдисциплинарным, эволюционирует, меняется «от предмета к предмету, от земного к небесному». Поэтому оно же и с нулевой дисциплинарностью, и вправе обозначиться 0-профессией. Таковой называется эссеистика, порождающая целый веер возможных дисциплин и дискурсов, дабы создавать максимальное разнообразие концептуальных полей, возможных дискурсов знания, соотносимых со всем богатством естественного языка [5, с. 31–36].

Поэтому требовать от мыслителя-художника, всякого творца новой мысли-

образа выражаться на едином-типовом языке – заведомо обрекать культуру на повторяемость, имитацию, предсказуемость. Или лишит создаваемое творческой магии бездонного кладезя Поумолчания, свободного от гносеологического антагонизма «научности-ненаучности», «разумности-интуитивности», «тезы-антитезы». Ведь творчество – от отворения-открытия, и не как результат, но как процесс, причем не показывания-озвучивания, но выражения-рождения неведомого доселе смысла.

Парадигма обострения интереса к феномену Поумолчания, что объясняет закономерную парадоксальность современной философии культуры вообще и науки, в частности, способствуя становлению антитетичности доминирующим стилем мышления, а противоречия – важнейшим предметом исследовательского дискурса [6, с. 285].

При этом «нарочитая двусмысленность подобных кентаврических образований подчеркивает то обстоятельство, что выраженный в них смысл схватывается лишь в соотносительности употребляемых терминов, мерцающая и устанавливаемая где-то в промежутке различия» [7, с. 139]. Где-то в промежутке между будничным погружением в ванну и неудержимым взлетом озарения: Эврика!

Поумолчание есть явление бытия-небытия знания, проявление вероятности природы познания, где «незнание всегда богаче нашего знания» [8, с. 10].

Поэтическая метафорика, иносказания в современной науке только и способны хоть как-то передать знание как игру воображения, мерцания где-то в промежутке различия, в зазоре смыслов, эссеистике дискурса, порождающего такие, например, образы, как «струнная концепция» мироздания, временные «котовые норы» или «червоточины», «черные дыры». И даже «белые дыры», которые, в отличие от своего «мрачного» антипода, не поглощают в себя, подобно Хроносу, пространство-время, но выдают их «нагора». И если, по утверждению современ-

ной физики, они существовать не могут, то в культуре они явление закономерное. Как и самобытные пробелы в ее текстах, в системе знаков, из которых рождаются новые знаки, а также идеи и концепты. Включая самого человека, принципиальный, никогда не избываемый пробел гуманитаристики [9]. Именно с ним, уникальным существом говорящим, в бытие-мир привносится нечто несказуемое – сам человек, неисчерпаемое многообещающее Поумолчание, а также, что столь же естественно, и самого Бога, прообраза и подобия человека. Ибо его идея-концепт изымается из исключительно религиозной, теологической и даже сугубо нравственно-этической плоскости, где он наделяется надчеловеческим, весьма, как оказывается, безразличным к делам-мольбам человеческим существом, априори эзотерическим Абсолютом. И погружается в сферу синергетического представления о бытии со всеми ее оксюморонами и человеческими переживаниями, и так отрывается герменевтической процедуре в качестве увлекательного текста, преисполненного тайнствами своих неисчислимых контекстов, не лишенных ни скепсиса, ни иронии, ни грез. Причем как в художественно-поэтической, так и в естественно-научной картине мира, которая сегодня изобилует «темной материей», «темной энергией», наконец, «частицей Бога» («бозоном Хиггса»).

В результате из культурно-исторического Поумолчания воскресают архетипические образы, благодаря чему современная наука сплавляется с архаическим мистическим знанием, чем не отбрасывает наше сознание назад, но пробуждая реальную революцию в нашем сознании. Ибо утверждает, что наука объясняет Бога, а Бог – науку [10].

Что же тогда говорить про искусство, художественную культуру в целом?

А то, что она только и жива в синергетическом оксимороне бытия-становления, пишется не закрепощенным в терминах трактатом, но вольным на слово эссе – пульсирует, перманентно удивляя откры-

тиями своего Поумолчания, выявляя в трансторическом культурном контексте не то пробелы в Памяти, не то затишье воображения. Хотя все это достойно здесь-днесь, сущенасущное в Поумолчании. Так что... «Проявлять уже присутствующее – вот единственное, над чем можно трудиться. Проявить – значит из дробности создать целостность, которая преодолет и уничтожит разброд. Значит, из кучи камней создать тишину [11, с. 44].

Фактически за это же ратует как актуальность днесь метамодернизма, провозглашающая насущную современность как колебание между культурой модернизма и постмодернизма в гармонии интереса к прошлому, с эмпатичной открытостью будущему. В манифесте метамодерниста признается, что колебания – естественный миропорядок, как некое непрестанное движение в духе Дао, между положениями с диаметрально противоположными идеями. Или неотъемлемая незавершенность системы, увлекающая не достижением заданного результата и рабского следования определенному курсу, «но скорее ради возможности нечаянно косвенно подглядеть некую скрытую внешнюю сторону». Отсюда и «ролью искусства должно быть исследование обещания его собственных парадоксальных амбиций путём подталкивания крайности к присутствию». Такова, получается, общая судьба человека-культуры – преследовать бесконечно отступающие горизонты по зову Поумолчания, доносящегося неведь откуда. Поэтому наука стремится к поэтической эlegantности и образности, а художники могут пуститься в искания истины. При том что любая информация-знание содержательна, независимо от способа ее обнаружения (эмпирического или афористического) и от ее правдоценности. И ошибка порождает смысл. Поэтому должно принять научно-поэтический синтез и информированную наивность магического реализма, а также динамику «и то и другое – и ни одно из них», то есть «между», в зазоре между ясностью и неоднозначностью [11].

Остается согласиться с Ф. Ницше, верным подвижником «веселой науки» с ее «тенью Бога», полагавшим, что мысль должна схватывать истину в ярком художественном образе. А он, по определению, произрастает и культивируется герменевтом из неистощимой глубины Поумолчания, как возможности возможностей. Поскольку речь идет не об отсутствии звука, не о безмолвии, лишенного смысла, но про отсутствие осмысленного произношения, говорения, привносящего дополнительный смысл.

«Может быть, постичь истину – значит чувствовать ее безмолвно?.. Может быть, постичь истину – значит обрести право умолкнуть навсегда?» [11, с. 167]. Вместо гласного ответа свербит мысль о неизбежной нужде в тишине. Ибо в ней «...каждый найдет свою истину и укоренится в ней» [12, с. 24].

...Булгаковская («Мастер и Маргарита») мысль-наитие прямо-таки ведет по таинственным закоулкам тишины-молчания, переходя от «полной тишины» к тишине «полнейшей», от «мертвой тишины» к «гробовой». Это явно бессмысленное движение не утихает, видя, как часто, безотчетно выбирая достойное место, «наступает молчание», нередко «полное»...

Вначале же было молчаливое маслоизливание Аннушки, смазавшей колеса текстуальной событийности, но так и оставшись в тайне непредсказуемо-неизбежного Поумолчания. С ним предпочитал быть в ладу и Воланд, который явно не любил разглагольствовать, более полагаясь на немногословие риторических вопрошаний и усмешек. Так и Иванушка, влекомый поэтической «чертой бытия», был чуток к Поумолчанию, предпочитая доверчиво слушать, не находя внятного языка понимания, почему и казался Бездомным в явно неуютном ему бытии. Поумолчание не отпускало его, то заставляя впадать в беспокойство, когда за дверью

больничной палаты «он своим, уже привыкшим к постоянной тишине, слухом уловил беспокойные шаги, глухие голоса». То, уже с затишьем всех неизъяснимых событий-мистификаций, будит его, и «наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает», но только до следующего полнолуния в его неизбежном Поумолчании.

В нем-им же обитал и пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат, когда ждал вердикта: кого миловать, а кого казнить на Голгофе. Однако не от молчащей сплошным гулом толпы. Он «...выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина». И он поддерживал ее, сколько мог, и только затем, когда ему показалось, что с ней все кругом вообще исчезло, он вдохновился на вердикт поумолчания, в котором он знаменательно умыл руки, напроць зативив пораженное первосвященство. Талант поумолчания бывший всадник вынес и с полей отгремевших сражений, и из своего дворца, где «господствовали мрак и тишина». В него же он пожелал погрузить и последствия ожидаемо затихшей Голгофы, прося «без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех казненных и похоронить их втайне и в тишине». Видимо, понимал, знал, что это не «гробовая тишина», но воскрешающее поумолчание.

Маргарита же настойчиво подвигала Мастера слушать-принимать беззвучие как дар и наслаждаться тем, чего он лишился в жизни, – тишиной. В нее, великонепрестанную, и полетели они «в молчании долго». «Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду». Он маячил и позади, а также летел с ними неотлучно, поскольку это «дом бытия», язык. Потому и вечный, поскольку может только быть-существовать живым, жизнеспособным благодаря бессмертному же Поумолчанию.

1. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер // Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – 447 с.
2. Витгенштейн, Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн. – М. : Гнозис, 1994. – 612 с.
3. Башляр, Г. Новый рационализм / Г. Башляр. – М. : Прогресс, 1987. – 376 с.
4. Розеншток-Хюсси, О. Бог заставляет нас говорить / О. Розеншток-Хюсси. – М. : Канон+, 1997. – 288 с.
5. Эпштейн, М. Бог деталей. Народная душа и частная жизнь в России на исходе империи. Эссеистика 1977–1988 / М. Эпштейн. – М. : ЛИА Р. Элинина, 1998. – 240 с.
6. Кнященко, Л. П. Простота сложности и сложность простоты (мерзость различения). Философия науки. Вып. 18. Философия науки в мире сложности. – М. : Институт философии РАН, 2013. – 312 с.
7. Разинов, Ю. А. «Я» как объективная ошибка / Ю. А. Разинов. – Самара, 2006. – 262 с.
8. Налимов, В. В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архи тектоника личности / В. В. Налимов. – М. : Прометей, 1989. – 288 с.
9. Эпштейн, М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук / М. Эпштейн. – М. : Ново литературное обозрение, 2004. – 864 с.
10. Хайш, Б. Теория Бога. Доказательство существования Бога в современной науке / Б. Хайш – М. : София, 2014. – 224 с.
11. Де Сент-Экзюпери, А. Маленький принц. Цитадель / А. де Сент-Экзюпери. – Фрунзе АСТ, 1982 – 256 с.
12. Аккер, Р. Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма Р. Аккер. – М. : РИПОЛ Классик, 2019. – 494 с.

Статья поступила в редакцию 15.03.2021